

АННА и КОНСТАНТИН СМОРОДИНЫ



ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

РАССКАЗ

Серёга и Настя стоят у бетонного перешейка, где озёрная вода с шумом ухает в зарешеченный колодец, откуда по жёлобу-коридору стекает уже узко, ручьём. Рядом — пляжик, сейчас, в августе, как и всегда к концу лета, замусоренный. От пляжа — холм, уводящий в лес. По левую руку — родная для обоих деревня. Сейчас им — не до красот природы, не до купанья, не до грибов... Молодые — в напряжённом разговоре-противостоянии.

Оба крепкие, высокие. Серёга — с тёмно-русым ёжиком, плечи развёрнуты, майка-тельник, штаны-камуфляж. Настя в бандане, удерживающей светло-русые пряди, плещущие на ветру, в красной майке и бриджах. Ладные. Такие, каких немного встретишь, особенно ближе к мегаполису, где всех подряд будто скрючивает и высушивает опаляющая стихия сверхскоростей.

Серёга приехал на свои первые каникулы. К двенадцати ноль-ноль тридцатого августа ему, курсанту Федосову, надлежит прибыть в расположение, а именно — в легендарное Рязанское училище ВДВ. Училище это для Серёги вымечтанное. Никакой другой дороги он не желал себе. Это было всё его — солдатство текло по его жилам, питало все мысли, чувства, взгляд на мир. Год в казарме оказался трудным. Столкнулся он, куражистый, крепкий, самоуверенный парень, с суворовцами. А тех — пятеро, у тех — спайка, один за всех и все — на Серёгу. И всё же перемог, выдюжил, собрался, одолел, прижился... И домой, на каникулы, ехал красавцем — в форме, в купе. Купе — тоже знак иной, служивой судьбы. Кому в деревне так ездить по кар-

СМОРОДИНЫ Анна Ивановна и Константин Владимирович – прозаики, публицисты. Выпускники Литературного института им. А. М. Горького. Авторы многих книг и публикаций в центральных журналах. Члены Союза писателей России. Живут в г. Саранске.

ману? “Родина платит!” — расхожая поговорка в военной среде. И вот Родина начала платить и по его счетам. А он начал ей принадлежать — совсем, со всеми потрохами...

Когда мать с отцом примчались зимой к нему в больничку (воспаление лёгких после приземления в снег и пробежки), мать причитала, охала, поила клюквенным домашним морсом, а у него даже в бреду, даже с температурой было яркое ощущение — он отрезан. Родители — по ту сторону, где любимые места, где баня по субботам, рыбалки, сенокосы... Всё это есть, продолжает существовать, но — без Серёги. И как бы матери ни было жалко его, всё это было зря, не нужно, потому что только растепляло, расслабляло. А выжить можно было, лишь собравшись в тугую пружину. И он твёрдо намеревался выжить в том жёстком, более жёстком, чем он предполагал, мире. Чтоб стать в нём своим, надо было оббиться об углы и стыковочные швы, и натереть твёрдые мозоли, и одеться защитной коростой. Поэтому сейчас всё болело в нём. Тем более надо было опять уезжать, отрываться. Серёга невольно вздохнул. Настя хмыкнула и пожала плечами: “Опять эти вздохи! Что за парень?”

У Насти много приятелей-пацанов. “Женихов” по-деревенски. Ей еще предстоит последний школьный учебный год. Тут есть струйка тревоги, потому что учиться придется в райцентре, куда будут свозить старшеклассников на специальном автобусе. Их тоже отрывают от дома, этих ребят. Впрочем, Настя в любой компании умела постоять за себя, и она полагает, что статус “примы” от неё не уйдёт. Настя ещё не знает, как резко обрываются тёплые, домашние, поддерживающие нити, и неважно окружающим — кем ты был, каким суперпопулярным, каким классным и незаменимым... Как названивали тебе лучшие мальчишки, и как именно твоя парта бывала на Восьмое марта завалена открытками и мягкими игрушками. Потому-то Настя и хмыкает пренебрежительно, не зная этой большой грани: свой — чужой, или, по-другому, детство — юность. Зато это знает Серёга.

Если б как раньше, год назад, когда они женихались, прикалывались между собой по-свойски, как все, когда это вроде просто так, хоть что-то там и отзывается не в сердце даже только, а во всём существе, он бы сейчас облапил её: “Эх, Настюха! Настёна!” — поцеловал в обе круглые щёчки, и она б встретила это весело, со смехом, — потому что ничего такого, ведь между своими и просто так. А теперь, глядя ей в светлую макушку, он не мог — просто так. Потому-то для него было крайне важно — не спугнуть её, не перевести в смех, в прикол, в шуточки, а показать ей, что он — серьёзно, серьёзней некуда.

Ветерок перебирает её волосы, дует ласково, нежно. И Серёга решает: — Настя! Выходи за меня замуж.

Повисает пауза. Он — повзрослевший, на отлёте — в иную жизнь, как будто хочет прихватить с собой то, что даст ему тепло и чувство родного дома. А Настя — юная девочка, не знающая и не могущая вместить того, что произошло с ним за этот год. Ей, конечно, льстит то, что он сказал. Она взглядывает на него снизу вверх своими чудесными, прозрачно-зелёными глазами: а может, он шутит? Нет, не похоже. Вдруг она ощущает всю тяжесть его взгляда, прорвавшегося из его призванности и отданности — в её. Всё это материализовавшееся боевое снаряжение десантника запросто сломает хребет любым романтическим отношениям. Призвали его! Его! А её не призывал никто! И хоть ей очень нравится Серёга, но она инстинктивно отшатывается: “Нет, нет! Не хочу!” Он видит её мгновенный испуг, даже ужас, и лицо его меняется: из робкого становится стальным, угрюмым.

Мужчина и женщина на берегу игрушечного озера сошлись в диалогепротивостоянии. “Раздели мою призванность, — позвал он. — Давай серьёзно!” — “Ты что? Ты что? — в ужасе лепечет её душа, — давай полегче, посмеёмся, поприкальваемся. Без этой тяготы, без этой груды вооружения на жизни”. Серёга чувствует, что он готов схватить её за плечи и трясти, пока не вылетит из этой головы вся телевизионная, рекламная, гламурная дурь, отравившая между людьми всё и здесь, в русской деревне... Он почти ненавидит её в этот миг за то, что она не знает, не понимает того, что знает он...

— Ладно, пока. Увидимся, — Настя резко разворачивается и по тропе направляется к деревне, не желая длить этот тягостный момент.

Серёга хмуро смотрит ей вслед. Какая ладная! Красивая! Нужная ему!

— Иди, иди, — бормочет он, — катись!

Он силёвывает под ноги, идёт к пляжу, садится на брёвнышко. Так он сидит долго — ослепший от солнечного блеска раскинувшейся перед ним воды, не в силах сформулировать — зачем всё?.. Его, мужчину, позвала Родина, и он отозвался, он пошёл, хотя — да, вокруг полно народу, не желающего отзываться, а желающего судьбу свою полегче, в сторонке и тенёчке протоптать. Может, потому и тем, которые отозвались, им тяжелее — мало несущих. А кто призовёт женщину? Он вот позвал — она не пошла, не хочет мотаться по гарнизонам, тянуться ниткой за мужем, чтоб был он главным, чтоб определял — куда... Потому что и не он определяет-своевольничает, а выше, над ним, вместо неба — Родина... Эх ты, Настюха!..

Через час Серёгу окликнули знакомые ребята, собравшиеся купаться. Они притащили с собой накачанные камеры, и вскоре вокруг царило веселье. Прыгали, плескались, играли в догонялки. А вечером договорились собраться у костра. Впереди у Серёги было ещё несколько свободных домашних дней.

— Чего сумной? — толкнул его в бок Поня, постоянно вставлявший в разговор страстное “понял? понял?” и заработавший соответствующее прозвище. — По пиву скучаешь? Не бойся! Проводим тебя, как полагается!

Все заготовали, а Серёга с некоторой неприязнью подумал: “Проводите! А сами останетесь!”

Сидя перед телевизором, Настя то и дело тыкала в кнопки мобилки. Эсмэски приходили одна за другой. С экрана абсолютно искусственной внешности телеведущая с английской интонацией рассказывала, как стать счастливой современной женщине. Шоппинг, спорт, карьера и мужчины, — перечислялись ею через запятую. Самоудовлетворение и самодостаточность — вот были те два коня, на которых необходимо было учиться искусно ездить.

Подруга Ирка сидела напротив, в кресле, рассматривая покрытые алым лаком ногти. Обсудить девчонкам предстояло массу вещей. Неумолимо близился учебный год, и одноклассникам надо было выработать тактику и стратегию поведения в новом классе, чтоб не попасть в “отстой”. И, как ни крутилось на языке у Насти Серёгино странное предложение руки и сердца, она ничего не сказала подруге. Но вот речь о Серёге всё-таки завела.

— Он, Ир, другой приехал. Ты заметила?

Ирка, глядя на себя в зеркальце открытой пудреницы и растушёвывая блестяще-серые тени на веках, протянула:

— Ну, не знаю. Он симпатичный. Классный. А в форме вообще супер.

Настя вздохнула. Нет, подруга ничего не понимала и не чувствовала со стороны. Не к ней обращен был вызов со стороны мужского мира. Не она не пожелала достойно ответить на него.

— А на параде? Помнишь?

Настя кивнула. Тогда они тоже смотрели телек с Иркой. Вэдэвэшники из Рязани, шеренга за шеренгой, печатали шаг, словно рушились мощные деревья в лесу: одно, второе, третье... Сила, сплочённость, единый боевой организм... Красавцы все как один. Серёга клялся и божился, что в следующем году он, отличник, будет Девятого мая там, на Красной площади. “С мыслью обо мне”, — довольная улыбка сама собой разлилась по лицу девушки.

— Всё-тки он нудный стал, Ирка! Жалуетса, ноет. Другой какой-то. Не пойму, — Настя раздражённо отшвырнула мобильный и уставилась в окно.

А ведь и от подруги она уже отделена этим предложением Серёги. И она, удивляясь, как бы ощущивала себя, оглядывала внутренним взором, отмечая и собственное взросление... Она не рассказала о случившемся Ирке, и это был взрослый поступок. Женский поступок... В ней самой зародилось что-то иное, начало какого-то иного понимания. Понимания любви как жертвы, как сострадания, как соучастия. Может, пройдёт целый год, а может, два, и Серёга повторит свои слова. Настя поглядит ему в глаза прямо и смело и ответит: “Да”. И никого не будет счастливее и правильнее их в тот час. Они оба будут знать, что это “да” стоит дорого, но отдано — даром.

МАРИЯ

РАССКАЗ

Мария заведовала третьим подсвечником и ковриками. Потому что когда на всенощной батюшка выходит читать Евангелие, то ему обязательно под ноги надо подстелить коврик — тёмно-красный, с белыми прожилками узора. Скоро уже надо новый покупать, истёрся этот, и в уголке — пятна. А что это за пятна — Марии хорошо известно. Покуда она осенью болела, слегла с ангиной под самый Покров, то уборщица Лида подсвечник так держала, что весь уголок закапала. Хоть и отнекивается, а видно, что уж соскребала после воск-то, да Марии повадки её известны: стоит на службе — рот раззявит, ворон ловит.

Серьёзное дело — коврик постелить. А в церкви нет дел несерьёзных. Вот и подсвечник её... Это если от праздничного, первого считать; второй — у Спасителя, а третий самый её, Мариин... Нет, не её, конечно. А Всем Святым. Но коль уж она тут определена, поставлена хозяйкой, то, значит, и святые ей быть тут разрешили. А что? Не хуже никого она, Мария!..

— Привет, тётъ Маш! С Праздником великим! Свечи в строю равняешь? Так держать! — Андрей, с правого клироса, клонул стекло лбом да носом и унёсся в узкую дверь, а из-за перегородки здравствования донеслись и перехихикиванья.

“С праздником!” — губы поджавши, вслед процедила Мария и головой покачала, в платке белом, кипенном. Вертун! Нет, уж коли бы она дары распределяла и голоса, не досталось бы вертуну этому. Посерьёзней бы кому, пообстоятельней, чтоб рубашечка солидно под горло была застёгнута и с рукавами длинными. Сама Мария всегда, непременно, и в самую преогромную жару под блузочку белую сорочку одевает. Строго чтоб было, соответственно — и подсвечнику, и коврику — и батюшке, главное.

У Марии, которой шестьдесят три и которая совсем одинока, батюшка, отец Геннадий — самый главный в жизни. Всё-то она подмечает: в добром ли здравии, и в расположении каком, и вздохнул-то за службой сколько, и кашлянул когда... Мало батюшку ценят, так Мария считает. Уж коль бы она — так только б молился, а в свободное время у окна бы чаёк попивал, на цветник, к радости его обустроенный, глядя.

Матушка у них суровенька, резка. Но учёная, и диссертации-то, на ушко слышать, за прочих-других священников писала, и сама на том молоке богословском выросла. Иконы — наперечёт, и тип какой, и почему, и где, и хороша ли... По нотам поёт, по-славянски читает. И в церковь в пятнадцать лет от роду пришла — не как Мария, в пятьдесят пять, после работы, как в клуб. После уж втянулась, своей стала. Ругается матушка, когда не вовремя свечу поправишь. Если на чтении священном или за обедней самой — двинешься, пусть и слова не скажет, но взглядом так зыркнет, прямо обрежет, аж сердце зайдётся. Хорошо ещё подсвечник Мариин большой иконой от хора и от матушки прикрыт. Так она хитрит иной раз, Мария-то. Свеча ведь тоже внимания требует: то капать возьмётся, то тухнет, то чадит, то от жара соседнего сгибается. Так-то крутишься, крутишься, служба-то и промелькнёт. Руки в воске у неё всегда, у Марии.

Удивляется Мария, даже и соглашается вроде с матушкой (а как не согласишься? Она ж взглядом испепелит), и согласиться нельзя. Ну вот хотя бы!..

— Сами свечой стойте! Молитесь! Не в свечах дело! Нечего по подсвечникам всю службу прыгать!

Ты себе говори, говори! А Мария тихонечко со свечками и без тебя управится. Это как так “не в свечах”? А продают зачем тогда? А во всех книгах написано про поведение в храме: зайдти, купи свечу!.. Нет, что ни говори, и матушка не всё знает, пусть и учёная она.

Распрямылась Мария, лоб утёрла. Жарко в храме, свечей много. Особенно восковые ей нравятся, рублей за двадцать, тридцать, — те потолще и долго горят. А уж эти — дешёвка, по рублю да по два — маята одна. Тонкие, гучие, текущие... Пусть и пенсионерка Мария, а на свечи выделяет особо и дешевле пяти рублей и брат, считает, нечего. А то вон — Надежда, из подъезда соседнего, и ходят-то иногда вместе, по темноте особенно зимней, так она именно по рублю купит, а ещё к подсвечнику трётся ближе... “Ну, люди!” — сокрушённо Мария головой качает. Во многом её люди не устраивают, и многие. Или творят непотребное, или негодные сами: то в блуде, то в пьянстве, ни постов у них, ни праздников. То ли дело Мария — в сорочке, свечи твёрдые, правильные и всю-то службу при исполнении... А на душе-то хорошо! Хорошо-то на душе как! Идёшь из храма, люди мельтешат глупо, им бы тоже — из храма бы идти... Нет! А уж в храм зайдут — прямо хоть дерись иной раз. Ведь видно же ясно, что это Мариино место. Уж все знают! И дьякон Вячеслав кадит прямо отдельно ей, и батюшка с праздником непременно поздравит, и матушка кивнёт. А то прошлый раз как-кая-то, прости Господи, в платье цветастом и без рукавов, голыми локтями светит, а самой за сорок, видать, а туда же — в таком виде и в храм, заступила Мариино место и стоит-красуется. А ведь Мария только на секунду и отбежала. Монахиня Нина от батюшки кадило приняла и в притворе, у двери, угольки перетряхивала, самым постоянным прихожанкам давая кадильным, ладанным дымком вздохнуть-окуриться. Искорка на щёку ей села — опалила, ну и бабульки все в один голос и монахиня Нина сама подтвердила: это хорошо. Мария вернулась к своему подсвечнику воодушевлённая и разгоревшаяся, а тут — здарсьте вам! Стоят! Цветастые и с руками голыми. Мария, правда, без церемоний, ей ведь некогда — свечи поправлять пора, рублёвые снова прогорели, встала вплотную впереди, так и оттёрла — ту, цветастую, пришлую. Оглянулась после — стоит зади, а ещё — после, и след простыл. Вон они какие — захожане, из храма-то бегом!

Стоит Мария, свечи ровным, чистым заборчиком выставлены, карандашами аккуратными, поближе к иконе — самые высокие и дорогие, подальше — тонкие, дешёвые... Только парафином закапывать, её б воля — вовсе б этих, рублёвых, до подсвечника не допускать.

А то вот ещё диакон Вячеслав. Отец диакон. Тоже, скажем прямо, распущенный. Свободный слишком. У самого жена и двое деточек малолетних, а он всё улыбается ходит. Посерьёзней бы надо! Если кадит и молодёжь увидит или детей — прямо к ним, на все тридцать два зуба разулыбается и “здравствуйте” им с поклоном (а куда там поклоны соплякам этим отвешивать, уравнивать их в правах кое с кем иным?..), да “с праздником вас”, да “как приятно молодые лица видеть”, да “заходите почаще”!.. Мыслимое ли дело?! И положено ли это по уставу? Буквально вот, в субботу, вчера — девчонки две, в брюках обтягивающих, а он — к ним: “Вот они где, цветочки, — говорит, — рады видеть вас!” А чего там рады? В штанах-то? Старухи-то, на скамейке которые, не расслышали сперва — ругает девчонку, поди, в брюках потому что. После уж Мария всё им разъяснила... Так что дьякон, он тоже — двусмысленный. А то все как сговорились прямо: душевный какой да приветливый... Мария-то всё подмечает. И душевность его душевредную на учёт поставила, исповедовалась даже об этом: осуждаю, мол, диакона — он вот это делает, и это, и вот тот раз — то ещё... Батюшка почему-то грустный стал, ясно — из-за дьякона своего расстроился, любит его, хвалит, а он — вон какой: которые в брюках — тем улыбается. А ему вообще по должности улыбаться не положено. Иди аккуратно, голову присогни, где икона — перекрестись, да пальцами пола коснись — и будет хорошо, правильно. Ну куда там диакона тронешь — матушкин любимец. Прочитают книгу какую-нибудь и вот до темноты галдят, обсуждают. А тоже не все ведь книги читать благословлено. Вот батюшка и грустный, тем более — дождись-ка матушку с ужином, пока она все умности свои переговорит.

Передумала все свои мысли Мария, с товарками перемолвилась. Вышла на крылечко и, со ступенек спустившись, подождала, пока на колокольне Иван отзвонит (нет, что ни говори, Василий ответственной звонит, дольше

выходит под звоном стоять). В кошёлке у Марии — хлеба булочка, с кануна, именно это верным, чтоб покойников поминать. Придёт и скажет за ужином: “Помяни, Господи, в Царствии Небесном тех, за кого этот хлеб принесли”. Она ведь — верная, Мария, правильная, вон как церковь любит — всегда первая спешит-торопится, и батюшку тоже любит-почитает, всё угождать хочет. К именинам, как ни скудна пенсия, триста рублей выделяет, и к Пасхе, на застолье, и к Рождеству, на престольный праздник не вышло у неё триста внести, она уж и Ольге-свешнице сказала: расходы непредвиденные — галошки купила, да у племянницы рождение, вот и потратилась — двести только внесла.

Хорошо Мария домой идёт, достойно перед соседками. И они к ней — уважительно, с расспросами и просьбами: кому о здравии свечу поставить, кому за упокой, кому батюшку привести — квартиру освятить. Мария поджимает губы: “Сами-то что же? Сами бы и шли! Храм, чай, рядом”. Но всем понятно — ей-то проще к Богу, по знакомству. И какой-то такой нынче уютный вечер выдался — и тепло непаркое, с ветерочком, свету — в избытке, июнь, и довольство полное в душе и в мире, — что на лавочке у подъезда задержалась-заговорила Мария. И вдруг юноша с букетом пионов пышных в подъезд их нырнул, сквозь старушечий строй побыстрее. “А это, — заговорили-заобсуждали вслед, — к Зюечке кудрявой похаживает, может, и женишок...”

— Какие счас женихи! — Мария уж на что церковный человек, а женщина пожившая, не проведёшь её цветами. И самые эти цветы непрошенные, обманные и пыль в глаза честным людям пускающие, зацепились в мозгу и напомнили. И среди июньского тепла стало ей от воспоминанья этого зябло.

А вот как на Страстную Пятницу к Плащанице готовились. И цветы вот тоже... Матушка болела тогда, сама не смогла. Свешница и уборщица на рынок подались. А как же! Застолье-то к Пасхе готовить. Также ведь каждую минуточку урывать надо: за мясом — котлетами хорошо разговляться, они — нежные, после яиц освящённых сразу; за творогом-маслом — на пасху творожную... В Великую Субботу уже куличи должны быть готовы — святить надо; но это отдельная женщина придёт печь. И вышло, что решать с цветами — Марии, больше некому. Мария цветов купила — хороших, крупных роз, красных и белых, в три вазы у Плащаницы красиво поставила.

Как же матушка кричала! Кричала, а из красивых, до сих пор ясно-голубых глаз пожилой уже матушки текли слезы. Свешница Ольга, уборщица Галина и добровольная Мария-помощница слушали, понурившись, и тоже плакали-разливались. А матушка ругала вроде бы их, но и саму себя.

— Не люди мы, полубесы! Табуретки бесчувственные! И как нас Господь терпит близ себя? Ни любви в нас нету, ни даже чувства красоты. Ничего! Умер — самый дорогой для нас, для всего света. А мы три букетика жалких поставили. Цветов Ему пожалели!

И всю заначку, что Мария от общих денег на именины батюшкины отложила, схватила и из своего кошелька подчистую всё выгребла и на такси самолично таких лилий и роз ещё, белых, сортовых, вороха привезла — и так гроб дорогой, Плащаницу увести, что Мария просто ахнула.

И внутри себя, сурово, перед своей совестью собственной спросила: зачем столько трат? Бедный ведь храм! И после всё думалось и билось в голову — зачем? Зачем Богу это? Зачем? И вспоминала матушкино: “Самый дорогой умер!..” А кто же Марии самый дорогой? Да если б батюшка умер, тут не только своего цветника не пожалела б она, всю пенсию до последней копейки выложила бы — на цветы и помин. Когда представляла себе это — всегда плакала. Отдать! Отдать всю себя, всю любовь!..

А Бог? У Него же всё есть. И Он ни в чём не нуждается... Он — далёк. А батюшка близок. Так и поплыло перед глазами, как Великим Постом, после пассии, отец Геннадий говорил о Голгофе, и голос его слёзно дрогнул. Мария тоже заплакала тогда — от батюшкиных слёз, его горя, его колено-преклонённых молитв, его седеющей головы... “Не о том вы плачете”, — частенько повторяла матушка. Но и тогда Мария плакала о батюшке, для которого Бог был непостижимо живым. Всё это не в словах, а изнутри, в этот

избранный, глубокий, голгофский миг — ярко, сиротски почувствовала Мария. Ведь и для матушки — самый Дорогой лежал в гробу и воскресал после, на третий день, как обещал Сам. Это была непреодолеваемая бездна между церковным ковриком и Богом, основавшим Церковь, в одном из храмов которой лежал этот коврик, заботливо и суетливо положенный Марией.

Довольство июньского вечера растаяло, схлынуло, и она поднималась в квартиру со странной печалью о себе. Да, её просто заморозили эти люди — бабушка и матушка, и то, что горело в них живым огнём, то, чего не было в ней. Совсем. Она села у стола, сложила руки на коленях, как школьница, и горько, обиженно заплакала — об обретении веры. Именно теперь, вдруг, ей стала нужна искра не от кафельного уголька, а от того живого огня, что горел в других людях и делал их непостижимыми, и вводил их куда-то, где был живой и близкий Господь, и куда теперь со всей силой души пожелала войти Мария.

*Редакция поздравляет
Константина Владимировича Смородина
с 50-летием!*